

На третий день после возвращения из Монастыря Ланькэ мне стали сниться кошмары.

Содержание снов каждый раз было разным, но финал неизменно оставался одним и тем же: я пишу иероглиф — самый простой иероглиф, «человек», состоящий из двух черт. И как только доходило до второй черты, кисть ломалась. Древко трескалось пополам, и во все стороны брызгали черные чернила. После этого я просыпался в холодном поту, а между большим и указательным пальцами правой руки ощущалось странное онемение.

Та кисть, принесенная из бамбуковой рощи, лежала на изголовье кровати. Теплое на ощупь древко, кончик заново обмакнут в тушь — я сам развел сосновую сажу с добавлением капли духовного родника, отчего написанные иероглифы приобретали едва заметный синеватый отблеск, недоступный обычной туши. Днем это была превосходная, ничем не примечательная кисть. Но всякий раз, просыпаясь от кошмара и беря ее в руки, я неизменно чувствовал, что она стала чуточку тяжелее, чем днем. Дело было не в физическом весе, а в ощущении, будто на нее давит что-то незримое.

На четвертое утро я решил испытать эту кисть.

Лавка еще не открылась: Лю Руянь отправилась на деревенский рынок за продуктами, а Шэнь Цзинчжэ рубил фарш на задней кухне. Сань Вань подметал вход у порога — это была его собственная утренняя практика, которую он называл очищением сердца через метение земли. Я сидел на каменных ступенях под софорой, раскатал лист бумаги, обмакнул новую кисть в тушь и под лучами утреннего солнца вывел один-единственный иероглиф.

«Ань».

Затем я взгляделся в написанное, и волосы у меня на затылке встали дыбом.

Иероглиф получился прекрасным. Плавные линии, безупречная структура, свободный и уверенный размах черт — он выглядел куда красивее всего, что я за восемнадцать лет исписал в Секте Лазурного Облака. Но загвоздка заключалась в другом: это был не мой почерк. Свой почерк я знал. Все восемнадцать лет мои иероглифы оставались зажатыми в рамки стандартного канцелярского стиля — не то чтобы безобразными, но и красивыми их назвать было нельзя. Учитель отзывался о моем письме так: аккуратности с избытком, а крепости и силы духа маловато. Предста же передо мной этот иероглиф «Ань» дышал свирепой силой, острота жала пряталась в каждом изгибе, а кончик завершался едва заметным дерзким взмахом, исполненным сдержанной гордости. словно чья-то спина — прямая, молчаливая, не оглядывающаяся назад.

Сюй Мо. Это был почерк Сюй Мо. Записка с Равнины Белых Костей навечно отпечаталась у меня в голове, я помнил каждую черту. Кисть вывела вовсе не мои письма — это был почерк Сюй Мо. Почерк старшего брата Сань Ваня. И, пожалуй, почерк каждого из первых семнадцати поколений конфуцианских практиков рода Сюй, бравших в руки эту кисть.

У кисти есть память.

Я держал ее, чтобы писать, но выводил чужие письма. Те два иероглифа — «Сюй Ань» — я написал сам или их заставила появиться сама кисть, воспользовавшись моей рукой?

— О чем задумался?

Шэнь Цзинчжэ неизвестно когда вышел с задней кухни и теперь стоял за моей спиной, а его фартук был перепачкан мукой.

— С этой кистью что-то не так.

— Что именно?

Я протянул ему инструмент:

— Попробуй.

Шэнь Цзинчжэ взял кисть, развернул новый лист бумаги и вывел два иероглифа: «Демон Меча». Почерк вышел размашистым и диким, больше похожим на следы от клинка, чем на буквы. Его собственный почерк. Он повертел кисть в руках, изучая ее с обеих сторон:

— Легкая. Куда легче моего меча.

— ...Хочешь сказать, когда ты пишешь ею, получается твой собственный почерк?

— Разумеется.

Он вернул мне кисть и бросил:

— Кисть есть кисть. Тяжесть кроется не в ней.

После чего развернулся и ушел дорубать фарш на кухню, но у самого порога добавил:

— Суп почти готов, сегодня кости свежие.

Кисть есть кисть. Но для меня эта вещь не исчерпывалась простыми словами «есть кисть». Она принадлежала роду Сюй, принадлежала конфуцианским практикам; это была кисть предка, лишённого правой руки, который три года сжимал ее в бамбуковой роще, прежде чем дорезал восемь четок. Ее вес крылся вовсе не в бамбуковом древке и не в кончике волосков — он заключался в тех людях, которых я никогда не видел, и в тех словах, что они писали, а я никогда не читал.

Шэнь Цзинчжэ был прав: кисть есть кисть. Но в одном он ошибался: тяжесть действительно обитала в кисти. Только не в ней самой, а в той руке, что ее сжимала. Моему сердцу не хватало твердости, поэтому кисть и казалась тяжелой.

Сань Вань закончил подметать опавшую листву у крыльца, прислонил метлу к софоре, подошел и уселся напротив меня. Он посмотрел на лежавший у меня на коленях лист бумаги, перевел взгляд на кисть в моей руке и произнес нечто совершенно не похожее на речи монахов:

— Если наставнику кажется, что кисть слишком тяжела, быть может, пока не стоит писать?

— А что же тогда делать?

— Прежде чем писать, расстели бумагу, разотри тушь, заверни рукава. А затем... — он медленно закатал рукава своей серой монашеской рясы до локтей, — ...вот так и сиди. Ничего не пиши. Просто посиди немного.

Он заглянул мне в глаза, и его янтарные зрачки были спокойны, как та сухая колодезная вода в горах позади Монастыря Ланькэ.

— Когда я жил в обители и мне хотелось написать наставнику письмо, но я не знал что именно, то просто сидел вот так. Сидел до тех пор, пока не наступало время обеда, а потом шел мыть рис.

Я живо представил себе эту картину. Маленький монах лет двенадцати горбится за каменным столом перед чистым листом бумаги, погруженный в задумчивость, пока старый настоятель кричит из глубины: «Сань Вань, иди мыть рис!» Тогда мальчишка бросает кисть и бежит на кухню, а рис в итоге подгорает. Подобные дни наверняка были исполнены тишины — настолько безмятежной, что даже неспособность написать письмо не казалась чем-то из ряда вон выходящим.

— Ты хочешь, чтобы я проще смотрел на вещи?

— Нет.

Сань Вань сложил ладони вместе:

— Монах хочет сказать, что когда мы станем подавать вонтоны господину Шэню, в твою миску, наставник, нужно положить побольше креветок. Когда на душе тяжело, лучше всего помогают креветки — это вывод, к которому я пришел в Монастыре Ланькэ.

Я на мгновение замер, а затем расхохотался. Тяжесть, застрявшая в груди, под воздействием этого смеха словно рассеялась.

— Твой учитель знает, что ты используешь креветки в качестве лекарства?

— Учитель говорил, что целебная еда — это тоже лечение.

— Твой учитель — удивительный человек.

— Удивительный человек вырастил глупого ученика.

Сань Вань опустил взгляд на свои закатанные до локтей рукава и вдруг тихо произнес:

— То, о чем наставник просил перед уходом в нирвану, монах исполнил. Но монах не знает, как написать ему об этом в письме. Раньше хотелось писать, потому что он был далеко, а теперь хочется писать, потому что он на небесах. Конечно же, кисть покажется тяжелой.

Настал черед молчать мне. Он был прав. Тяжесть кисти кроется не в ней самой, а в невысказанных словах.

— Когда придумаешь, что написать, — произнес я, — можешь забрать мою кисть.

Сань Вань поднял голову, и в его янтарных глазах отразились пятна света, пробивавшиеся сквозь листву софоры. Он сложил ладони и низко поклонился мне:

— Благодарю, наставник. Но монах считает, что наставнику, пожалуй, сперва стоит написать кое-что другое этой кистью.

Он кивнул на лежавший у меня на коленях лист бумаги с единственным выведенным иероглифом «Ань»:

— Например, написать ответное письмо.

После чего поднялся и направился на кухню за вонтонами.

Ответное письмо. Написать ответ на послание двадцатилетней давности. Тот листок с кривыми каракулями все еще хранился у меня на груди, сгибы на нем успели глубоко истерся: «Сюй Ань, прости, я пытался. Кисть слишком тяжелая». Я снова раскатал чистый лист бумаги, обмакнул кисть в тушь и долго смотрел на пустую белую поверхность. Затем острие коснулось бумаги:

— Письмо получил. В извинениях не нуждаешься. Сюй Ань, представитель восемнадцатого поколения рода Сюй, с глубоким почтением.

Почерк оставался чужим — он походил на почерк Сюй Мо, но был чуточку мягче; напоминал почерк старшего брата Сань Ваня, но казался куда устойчивее. Быть может, это были мои собственные письма, а может, и нет. Но это не имело значения. Послание предназначалось тому человеку, что двадцать лет назад вырезал четки в бамбуковой роще. Он потратил три года на создание восьми бусин, целую ночь выводил мое имя, а затем оставил свою кисть, служившую ему два десятка лет, под корнями увядшего бамбука. Он искалеченной правой рукой проложил для меня дорогу, и я был обязан хотя бы сообщить ему: эту дорогу я осилил.

Закончив письмо, я не стал спешить запечатывать его. Я аккуратно слогул лист и спрятал на груди, рядом с письмом двадцатилетней давности, намереваясь закопать его под каменной стелой в бамбуковой роще, когда в следующий раз окажусь в Монастыре Ланькэ. Он непременно увидит его.

После этого кисть словно стала легче.

Это не было иллюзией. Онемение между большим и указательным пальцами исчезло, да и ощущение того, что «на тебя что-то давит», почти полностью рассеялось. Шэнь Цзинчжэ был прав, Сань Вань тоже не ошибался: кисть есть кисть. Всего лишь кусок бамбука, пучок шерсти и капля туши. Груз семнадцати поколений рода Сюй лежал не на кисти — он лежал в моем сердце. Я нес его — и кисть становилась тяжелой; я отпустил этот груз — и она облегчалась. Но я не собирался бросать его, мне просто нужно было привыкнуть к этому весу.

— Сюй Ань! Сань Вань! Несите вонтоны! — раздался у входа голос Лю Руянь. Она вернулась с рынка, держа в левой руке курицу, а в правой — корзину с овощами, и теперь толкала дверь локтем.

Сань Вань поднялся рядом со мной, стряхивая пыль с монашеской рясы, и направился в лавку. На полпути он обернулся и бросил на меня взгляд:

— Наставник, положить побольше креветок?

— ...Побольше.

Сань Вань довольно кивнул. Я сидел под софорой, наблюдая, как в лавке с вонтонами постепенно зажигаются огни: Шэнь Цзинчжэ выносил первый котелок с дымящимся костным бульоном, Лю Руянь расстилала на прилавке бухгалтерскую книгу, объясняя Сань Ваню расчеты себестоимости, а тот со всей серьезностью кивал. Ворон примостился на подоконнике, перед ним уже стояла его личная маленькая чашечка.

Рука, сжимавшая кисть, едва заметно теплела. Это было не обжигающее плавно нарастающее тепло, а куда более мягкое — словно зимой держишь в ладонях чашку горячего чая, и жар понемногу проникает в самую душу. Я опустил взгляд на кисть: она тихонько лежала на моей ладони, а высеченный на древке иероглиф «Ань» согрелся от тепла кожи.

Из лавки донесся аромат костного бульона. Сегодняшние вонтоны были трех видов начинки, и креветок в них положили куда больше обычного.

<http://bllate.org/book/21206/2146461>